

Горшок

Жили-были мужик да баба. Оба были такие ленивые... Так и норовят дело на чужие плечи столкнуть, самим бы только не делать... И дверь-то в избу никогда на крюк не закладывали: утром-де вставай да руки протягивай, да опять крюк скидывай... И так проживем.

Вот раз баба и свари каши. А уж и каша сварилась! Румяна рассыпчата, крупина от крупины так и отваливается. Вынула баба кашу из печи, на стол поставила, маслицем сдобрила. Съели кашу и ложки облизали... Глядь, а в горшке-то сбоку да на донышке приварилась каша, мыть горшок надобно. Вот баба и говорит:

— Ну, мужик, я свое дело сделала — кашу сварила, а горшок тебе мыть!

— Да полно тебе! Мужиково ли дело горшки мыть! И сама вымоешь.

— А и не подумаю!

— И я не стану.

— А не станешь — пусть так стоит!

Сказала баба, сунула горшок на шесток, а сама на лавку.

Стоит горшок немытый.

— Баба, а баба! Надобно горшок-то вымыть!

— Сказано — твое дело, ты и мой!

— Ну вот что, баба! Уговор дороже денег: кто завтра первый встанет да первое слово скажет, тому и горшок мыть.

— Ладно, лезь на печь, там видно будет.

Улеглись. Мужик на печи, баба на лавке. Пришла темна ноченька, потом утро настало.

Утром-то никто и не встает. Ни тот, ни другой и не шелохнутся — не хотят горшка мыть.

Бабе надо коровушку поить, доить да в стадо гнать, а она с лавки-то и не подымается.

Соседки уже коровушек прогнали.

— Что это Маланьи-то не видать? Уж все ли здорову?

— Да, бывает, позапозднилась. Обрато пойдём — не встретим ли...

И обрато идут — нет Маланьи.

— Да нет уж! Видно, что приключилоя!

Соседка и сунься в избу. Хвать! — и дверь не заложена. Неладно что-то.

Вошла, огляделась.

— Маланья, матушка!

А баба-то лежит на лавке, во все глаза глядит, сама не шелохнется.

— Почто коровушку-то не прогоняла? Ай нездоровилось?

Молчит баба.

— Да что с тобой приключилось-то? Почто молчишь?

Молчит баба, ни слова не говорит.

— Господи помилуй! Да где у тебя мужик-то?.. Василий, а Василий!

Глянула на печь, а Василий там лежит, глаза открыты — и не ворохнется.

— Что у тебя с женой-то? Ай попритчилось?

Молчит мужик, что воды в рот набрал. Всполошилась соседка:

— Пойти сказать бабам!

Побежала по деревне:

— Ой, бабоньки! Неладно ведь у Маланьи с Василием: лежат — пластом — одна на лавке, другой на печи. Газоньками глядят, а словечушка не молвят. Уж не порча ли напущена?

Прибежали бабы, причитают около них:

— Матушки! Да что это с вами подеялось-то?.. Маланьюшка! Васильюшка! Да почто молчите-то?

Молчат оба что убитые.

— Да бегите, бабы, за попом! Дело-то совсем неладно выходит.

Сбегали. Пришел поп.

— Вот, батюшка, лежат оба — не шелохнутся; глазоньки открыты, а словечушка не молвят. Уж не попорчены ли?

Поп бороду расправил — да к печке:

— Василий, раб божий! Что приключилось-то?

Молчит мужик.

Поп — к лавке:

— Раба божия! Что с мужем-то?

Молчит баба.

Соседки поговорили, поговорили — да и вон из избы. Дело не стоит: кому печку топить, кому ребят кормить, у кого цыплята, у кого поросята.

Поп и говорит:

— Ну, православные, уж так-то оставить их боязно, посидите кто-нибудь.

Той некогда, другой некогда.

— Да вот, — говорит, — бабка-то Степанида пусть посидит, у нее не ребята плачут — одна живет.

А бабка Степанида поклонилась и говорит:

— Да нет, батюшка, даром никто работать не станет! А положи жалованье, так посижу.

— Да какое же тебе жалованье положить? — спрашивает поп да повел глазами-то по избе. А у двери висит на стенке рваная Маланьиная кацавейка,

вата клоками болтается. — Да вот, — говорит поп, — возьми кацавейку-то.

Плоха, плоха, а все годится хоть ноги прикрыть.

Только это он проговорил, а баба-то, как ошпарена, скок с лавки, середь избы стала, руки в боки.

— Это что же такое? — говорит. — Мое-то добро отдавать? Сама еще поношу да из своих рученек кому хочу, тому отдам!

Ошалели все. А мужик-то этак тихонько ноги с печи спустил, склонился да и говорит:

— Ну вот, баба, ты перво слово молвила — тебе и горшок мыть.